

Что же касается общеобязательности, то само собой разумеется, что в пространственно-временном «смертном континууме» (мое выражение), который сам-то образовался в результате вкушения от древа познания (т. е. грехопадения и низвержения человека из плана духовного в план материальный), они — эти истины — не только общеобязательны, но и принудительны: попробуйте их не признавать и им не подчиняться! Вот только существуют другие континуумы, другие планы и другие царства, на которые не распространяются ни их принуждения, ни их власть.

В эпоху грубого материализма и воинствующего безбожия Лев Шестов дал нам, его скромным последователям и ученикам, изумительное оружие для защиты человеческого достоинства и Божьего присутствия в мире и в человеке. Бердяев упрекал Шестова за «аристократичность» его философии, за ее малодоступность. И действительно, Лев Шестов требует от своих читателей огромной, чуть ли не такой, как его собственная, эрудиции. В наше время как будто нужно обращаться к массам, к низам, а не только к интеллектуальной элите. Безусловно. Но тот, кто обращается к массе, должен обращаться к ней во всеоружии знания и современной философской мысли. Для них и выступил со своей философской проповедью Лев Шестов. И в этом заключалась не только его философская, но и его социальная миссия. Потому что в современном мире социальное неотделимо от философского.

Ю. Б. МАРГОЛИН

Антифилософ

1

Лев Исакович Шварцман, в течение 40 лет писавший под именем Льва Шестова (первая книга его, «Шекспир и его критик Брандес», вышла в 1898 году; умер он 20 ноября 1938 года), занимает особое место в истории русской философской мысли. Отметим, прежде всего, что это был не только оригинальный мыслитель и ученый неакадемического типа, шедший своей дорогой, не изучавший философии под чьим-либо систематическим руководством, ум самостоятельный и вольный, блестящий и увлекательный писатель, книги которого будущие поколения в России оценят как долго скрытый от них клад. Стилль Льва Шестова непринужденный, почти разговорный, хотя он и предполагает у читателя высокий уровень образования, вплоть до знакомства в подлиннике с теми философами, о которых он пишет, имеет одно удивительное свойство: можно открыть любую его книгу

в любом месте и читать — все равно откуда, — и сразу увлечет, потянет за собой читателя сильный, напряженный ток мысли. Притом, если знаешь Шестова, всегда это будет одна и та же основная мысль, — но высказанная иначе, повернутая под другим углом, в применении к другому автору. Нужно было большое искусство и из ряда вон выходящая настойчивость, чтобы так — 40 лет подряд — варьировать одну и ту же тему. Повторения при этом были неизбежны, но они, как лейтмотив в музыкальном произведении, служили архитектонике целого. Шестов не боялся подчеркивать и повторять то, что считал «трудно усваиваемым» для сознания современников. Шестов вообще не считал своей задачей кого-либо убеждать или доказывать свою правоту. Он утверждал право не считаться с логической последовательностью и законом противоречия, провозглашал свою правду «всем вопреки».

Классифицировать Шестова трудно — он не укладывается в обычные рубрики. Н. Бердяев в статье, перепечатанной в виде предисловия к вышедшему в 1964 году собранию статей Шестова (Умозрение и откровение. Париж, ИМКА-Пресс), назвал его «философом, который философствовал всем своим существом, для которого философия была делом жизни и смерти»¹. С этим позволительно не согласиться. Шестов не был философом в общепринятом смысле — ни академическим, ни экзистенциальным, в смысле Гегеля, современных экзистенциалистов, или любого из разбираемых им авторов. Он не шел с течением философской мысли, а парил над ним — всегда и неизменно шел против него. Он верил в Бога, а не в философию, но и религиозным мыслителем не был. Существенно для этого писателя то, что он не писал о религии, религиозное не было предметом его мысли, и он не был связан границами и догматами какой бы то ни было исторической религии — несмотря на свое почитание Священного Писания и других священных писаний.

Он писал против философии, и в этом смысле являет единственный в своем роде пример — решительного, принципиального и профессионального *антифилософа*. С Киркегором, которого он узнал только в старости, сближает его, что он был, как и тот, «частный мыслитель», но он не принадлежал ни к какому исповеданию, и смерть застала его за чтением «Системы Веданты», на раскрытой главе о «Мудрости Браммы». Шестов не жаловал «христианствующих философов и философствующих богословов» (см. Умозрение и откровение, стр. 61), и этого они ему не прощали, даже личные его друзья, как Н. Бердяев и С. Булгаков. Он не создал школы, не имел учеников, кроме (в последние годы) несчастного Бенжамена Фондана, румынского еврея, погибшего в гитлеровской газокамере. Современники в лучшем случае ему «сочувствовали» и оказывали уважение, но сохраняя дистанцию. Шестов — блестящий философский публицист, эссеист, критик и обличитель философии, но книги его не философия, они «о философии» и «вокруг философии» — по существу и по форме, по замыслу и выпол-

нению. В этом своем качестве они вторичны, — и никогда бы не создались, не будь тех авторов и тех систем и утверждений, от которых они оттолкнулись и обсуждению которых посвящены.

Это страстный полемист и воитель, книги его — лирический монолог и лобовая атака. В первой же своей книге он атакует и ниспровергает Георга Брандеса. В книгах о Достоевском, Ницше, Толстом показано, что правдой и единственно важным в их творчестве было не то, что они проповедовали и чему учили, а трагедия человеческого существования, которую они пережили, но выхода из нее не нашли. «Ответы» их — лепет Алеши, образы Зосимы и князя Мышкина, «сверхчеловечество», «вечное возвращение», мораль — Шестов считает «мнимыми ответами», жалкими увертками. Так начался беспримерный поход Шестова против философии и философов. Соловьев — «все сделал, чтобы погасить живую и оригинальную русскую мысль» («Умозрение и откровение», стр. 35), он «глух и слеп ко всему» (там же, стр. 63) и даже, «нимало того не подозревая, служил делу... Антихриста» (там же, стр. 90). У Розанова «естественная связь явлений была пределом, за который никогда не перелетела его мысль». Есть у Шестова что сказать «вопреки Буберу» (стр. 122). Он обличает Спинозу во лжи (в «Антологии русской философской мысли...» С. Франка, см. стр. 165–168). «Философы менее правдивы, чем невежественные женщины», — говорит он. «Правдивый Спиноза с неслышанной доселе силой и вдохновением возвестил людям ложь», «безобразную ложь», Лейбниц надел «лицемерную личину», а Кант «предал Бога».

Столь резкая полемичность не осталась без ответа. Над писаниями Шестова пожимали плечами «христианствующие философы и философствующие богословы». Образец этого найдем в «Антологии из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века» С. Л. Франка. Там Шестову уделено место наряду с такими мыслителями, как Л. Толстой, Вл. Соловьев, Н. Бердяев, о. П. Флоренский и С. Булгаков... И он — единственный, о ком профессор Франк высказался в краткой справке, предшествующей каждому приведенному автору, явно осудительно: он отказывает ему в подлинно-религиозном сознании, даже, в сущности, в вере в Бога, говоря: «Иррациональное существо жизни он иногда называет Богом, но от всякого подлинно-религиозного сознания его позиция отличается тем, что для него трагизм человеческой жизни остается и должен остаться безысходным».

Философ Франк явно несправедлив к антифилософу Шестову, который, не будучи религиозным мыслителем типа Франка, все же верил в Бога, а не просто в «иррациональное существо жизни», и не «безысходность» утверждал, а тщету человеческого разума. Кстати, в списке главных трудов Шестова в «Антологии» пропущен «Апофеоз беспочвенности» 1905 года, т. е. именно тот «Опыт адогматического мышления», где Шестов очень резко выразил свое неприятие всяче-

ского идеализма. Для Франка история философии была историей идей. Антифилософ Шестов в «Апофеозе беспочвенности» проклял всяческие идеи. «Идея» была для него «Молохом», питающимся человеческой кровью, источником всех несчастий на земле. Стремление примирить веру с разумом — вмонтировать Бога в систему идей — приводило его в ярость.

2

Здесь мы подходим к основному тезису антифилософии Шестова: этот человек произнес хулу на разум, на знание и науку величайшие, какие только известны в истории культуры. В этой безудержности отрицания, раздражавшей его противников и оставлявшей неудовлетворенными его читателей, что-то было недоговорено, что-то оставалось открытым. Всю жизнь он боролся с «самодержавием Разума», равно теоретического и практического. В стремлении Платона и Плотина к «Чистому Разуму» усматривал «чисто человеческую слабость». Идеализм, пишет Шестов, «подобен восточной деспотии: снаружи все блестяще, красиво, вечно, а внутри — ужасы» (Достоевский и Ницше, стр. 58 берлинского издания 1922 года). Но что, собственно, понимал Шестов под ненавистным Разумом?

«Ratio, — говорит он в своей статье о Соловьеве, — есть те “законы”, неизвестно когда и откуда пришедшие, власть которых держится тем, что никто не смеет их спросить, почему им дано господствовать неограниченно над людьми и мирозданием».

Это относится и к данным науки, и к аксиомам морали, и к догматам религии — ко всякому вообще рациональному осмыслению мира. Заметим, что нет противоречия в том, что Шестов всю жизнь облакал свою борьбу с тем, что он называл «всевластием Разума», в форму мысли. Мысль есть субъективный акт человеческого дерзания, а Разум — объективная связь и закономерность вещей, «логос» — идеальная структура сущего. Шестов восстал против принудительности навязываемых человеку философами «истин», против окончательности нашего человеческого знания, против притязания человека на абсолютную истину. Именно этим — неистовым исповеданием Бога, который может и бывшее сделать небывшим, и опрокинуть все наши «абсолютные истины», он оттолкнул от себя не только «философствующих богословов», теологов, но и всех вообще, кто принимает, по Евангелию, что «в начале было Слово». Нет, в начале было — творение из ничего. Бог выше мысли теологов, притязающих на «власть “Ключей”» — католическую и не только католическую.

И если можно было Богу создать нечто из ничего, то можно Богу и обратить все кошмары бытия в ничто, а наибольший кошмар — его логичность, клетка, созданная рациональным мышлением. Шестов

мыслил мифами. Основным мифом Библии было для него изгнание из рая. Адам вкусил яблоко познания — познания добра и зла, — и с этого начались все несчастья. Шестов восстал против Адама. Все его книги — говоря образно — попытка выплюнуть яблоко и мольба к Богу о возвращении в рай до грехопадения. Это звучит фантастически. Шестов осмелился спросить «законы, неизвестно когда и откуда пришедшие», кто им дал право неограниченно господствовать над людьми и мирозданием? На этот вопрос, как и следовало ожидать, ответа не последовало.

В своем восстании против эллинской мудрости, против положительного знания, против Разума, якобы неумолимого и беспощадного к человеку, Шестов напоминает Дон-Кихота, борющегося с ветряными мельницами. «Самодержавие Разума» привиделось ему на переломе XIX и XX века, накануне величайшего безумия, охватившего мир. Если не возлагать ответственности за все страдания человечества на науку и схоластику, на увлечения и преувеличения школьной философии, которые всегда оставались уделом немногих и замкнутых в себе кругов специалистов, — придется сказать, что такого Разума, против которого повел войну Шестов, никогда и не существовало. Скорее, можно говорить о беспомощности и недостаточности человеческого разума, а не о его «всевластии».

Величайшим философом Лев Шестов считал библейского Иова, презревшего мнимые утешения моралистов, положившегося не на разум, а на чудо: на то, что все случившееся с ним Бог может просто зачеркнуть — сделать *небывшим*. Это безумие, ибо даже и в христианстве величайшее чудо и граница упования есть *воскрешение*, а не обращение вспять акта творения. В последовательном развитии своей мысли Шестов дошел до «борьбы с самоочевидностями». Последним основанием разума является очевидность: *facultas intuendi* — так определял разум в XVIII веке ученик Лейбница Христиан Вольф². Но Шестов смеется над «самоочевидностями» — ибо очевидное для человека не обязывает веры. Верой преодолевается очевидность, — она ищет спасения, а не логической достоверности. Заметим в скобках, что он и книгу Иова понял по-своему. Он вычитал в ней, что Бог вернул страдальцу не только здоровье и имущество, но и убитых детей! Этого нет в книге Иова, там говорится, что он разбогател вдвое и Бог дал ему новых детей, — но этого мало Шестову, он настаивает, что смерть детей и все страдания по воле Бога оказались (или в последнем счете окажутся?) просто несуществовавшими. Так хочет вера, ибо для Шестова то, что раз имело место в прошлом, неискупимо и невознаградимо иначе.

Для него эллинская идея «всеединства», которой все заранее оправдано высшей гармонией, ненавистна как еще одна уловка развратного разума, попытка уклониться от существования проблемы. Философия в течение тысячелетий стремится примирить веру и разум или,

по крайней мере, разграничить их, как это сделал Кант, показав, что там, где кончается компетенция разума, вера отвечает на основные запросы человеческого незнания. Но этого мало Шестову. Для него несовместимы вера и разум, и он утверждает веру в противоположность разуму. Кантовская «вера в границах разума» для него самообман, он не устает повторять, что Откровение не только не нуждается в Умозрении, но и исключает его, враждебно ему. Мало верить в согласии с разумом, — надо верить вопреки разуму. Нет моста между Афинами и Иерусалимом!

Нигде так не выясняется сущность шестовской проповеди, как в его конфронтации с антиподом — Гуссерлем, основателем современной феноменологии, которому так обязан русский интуитивизм. В статье «Memento mori», которая стала известна Гуссерлю во французском переводе, Шестов обрушился на него со всем красноречием и пылом своей полемики, — и Гуссерля заинтересовал этот неожиданный противник. Они встретились, и сам Шестов рассказал об этой встрече. Конечно, они не могли убедить друг друга. «У нас разгорелся горячий спор, — рассказывает Шестов, — по вопросу, что такое философия. Я сказал, что философия есть великая и последняя борьба — он мне резко ответил: *Nein, Philosophie ist Besinnung*». — Нельзя короче и острее продемонстрировать глубину расхождения, как если бы говорили на разных языках о двух разных вещах. Шестов видел в философии Гуссерля (и в каждой достойной этого имени философии) — борьбу. Борьба есть драматическое действие, выражение помогающей жизни, — «праксис». Философия — бунт! Философия — неприятие всяких очевидностей! И в своей статье о Гуссерле он переводит слово *Besinnung* — «рефлексия». Точен ли перевод? Во введении к книге «Афины и Иерусалим» Шестов повторяет (стр. 19): «Философия есть не любопытствующая оглядка, не *Besinnung*, а великая борьба».

3

Итак, «любопытствующая оглядка» против «великой борьбы». Но и то и другое неверно. *Besinnung*, как определение философии, не есть ни «оглядка», ни просто «размышление» (*Betrachtung*), — это предельная активность ищущей мысли, направленной на все предстоящее ей — в крайнем охвате всего открытого ей, со всем содержанием наук и жизни, стремлений и достижений, всего нашего знания и незнания. Не «любопытство» движущий импульс философии, а динамика и внутренняя необходимость, присущая мысли. «Великой борьбой» Шестова была не борьба с бытийственной структурой мироздания — поскольку она нам доступна — ни мысли, ни книги его не могли иметь на нее влияния, — а с философами. Противопологая Откровению — умозрение, и во всех формах умозрения открывая

«человеческое пристрастие», он сам оставался в границах умозрения и собственного человеческого пристрастия. И если бы не было существенного родства нашего антифилософа с теми, против кого он восстал, то не могло бы быть и этой трогательной черты Шестова как мыслителя — его любви, уважения, даже преклонения пред теми великанами человеческой мысли, которых он яростно разоблачал. Ибо Шестов любил своих антиподов — Спинозу, Канта, Гуссерля, любил так, как не любили их и вернейшие ученики их. Он прожил всю жизнь в обаянии этой *Philosophia Perennis* (перевод?), которой объявил войну и без которой не мог обойтись. Лицом к стану философов и спиной ко всем алтарям — такова была его позиция, и если он под старость называл ее «религиозно-философской», то парадокс заключался в том, что она была — внерелигиозно-антифилософской. Со всем своим глубокомыслием и прозорливостью он оказался в опасном соседстве с антиинтеллектуальным поветрием своего времени, и лишь сейчас, со всем страшным опытом последних десятилетий, мы видим это опасное соседство.

Поражает безмерное отчаяние, из которого исходил этот человек. «Знание порабощает человека». — «Мир — мрачное и страшное подземелье». «Нельзя покорно принимать бытие со всеми его ужасами». Он цитирует Киркегора: «Только дошедший до отчаяния ужас пробуждает в человеке его высшее существо». Можно ли считать Шестова экзистенциалистом? Он был против Ясперса, Хайдеггера, и, разумеется, ничего общего нет у него с атеизмом Сартра. Все это — аналитики, рассматривающие «человеческую реальность» как она есть. Шестов не занимался человеческой реальностью «всемства», он концентрировался на исключениях. Единственной реальностью для него была реальность человеческого вопля и безумной надежды на то, что «Богу все возможно». Чтобы уяснить, как ставил Шестов проблему человеческого существования, приведем следующее место из беседы с Гуссерлем (Умозрение и откровение, стр. 305):

«В 399 году до Р. Х. отравили Сократа... точно ли в мире есть такая сила, такая власть, которой дано окончательно и навсегда принудить нас согласиться с тем, что Сократа отравили? — Для Аристотеля такой вопрос как явно бессмысленный не существовал. Он был убежден, что “истина” — Сократа отравили — равно навеки защищена от всяких человеческих и Божеских возражений. Цикута не различает между собакой и Сократом, и мы, принужденные самой истиной, обязаны тоже не делать никакого различия между Сократом и собакой, даже бешеной собакой...»

Это очевидное *non sequitur*, и согласиться в этом случае не значит «примириться». Но дело не в особенностях стиля, а в том, что хочет сказать Шестов. Как освободиться от истины, что Сократ был отравлен по приговору суда в 399 году? Богу все возможно, и он может отменить,

обратить в ничто, в небытие, также и отравление Сократа. Так сводится вера, исповедуемая Шестовым, к надежде на то, что невозможное возможно и что действительность не обязывает верующего считать ее когда-либо имевшей место. «Задача философии в том, чтобы вырваться из власти разумного мышления и найти в себе смелость (только отчаяние и дает человеку такую смелость) искать истину в том, что все привыкли считать парадоксом и абсурдом». И еще сильнее: «Противопоставить усмотрениям разума “крики” Иова, “плач” Иеремии, громы пророков и апокалипсиса? Это, скажу еще раз, несомненно, “безумие”. Но разве ужасы жизни, открывающиеся тому, кто принужден взглянуть им прямо в глаза, — не безумие? Разве Иов со своим страшным опытом, Иеремия, плачущий о судьбе своего народа, или даже Плотин, вспоминая об убитых юношах и обещенных девушках, — находятся еще в пределах разумного? Мы стоим между двумя “безумиями”. Между безумием разума, для которого обнаруживаемые им истины об ужасах реального бытия есть истины последние и окончательные, для всех обязательные, вечные истины, — и безумием киркегоровского Абсурда, который решается начать борьбу, когда по свидетельству нашего разума и его очевидностей борьба невозможна, ибо она обречена на позорную неудачу. С кем идти — с представителями эллинского симпозиона или с Иовом и пророками, — какому безумию отдать предпочтение?» (Умозрение и откровение, стр. 321).

Это сказано так патетически взволнованно, что почти циническим кажется ответить простонародной пословицей: «На Бога надейся, а сам не плошай».

4

Откуда же взялось у человека, прожившего всю свою жизнь в мирнейших, благополучнейших условиях, материально обеспеченного, спокойно занимавшегося в предреволюционной России, потом в Берлине, Париже, чтением, мыслями, писанием книг, это безграничное отчаяние, это воззрение на жизнь как на кошмар, этот ужас пред бытием, которое давит неумолимо до того, что единственный исход — это отказать ему в признании, отбросить свидетельство действительности, ибо Бог может всю ее аннулировать? Откуда взялось это представление о том, что знание убивает свободу, а разум поработщает? Где корни, где источники этой «великой борьбы», которая, в конце концов, свелась к литературе, кабинету и сочинению книг для немногих посвященных?

В недоумении мы спрашиваем себя — разум ли осудил на гибель Иова? Или этические учения повинны в несчастиях человечества? Откуда взялось у Шестова это кипение, горение и неистовство?

Откуда это настаивание на том, что философия, «истинная философия», как он иронически выражается, лишает человека всякой

надежды на спасение от кошмарной действительности, или отказывает ему в праве на веру во всемогущего Бога, когда эта вера рождается в смятенном и отчаявшемся сердце?

Отчасти — только отчасти — мы найдем ответ в атмосфере перелома века, в тревоге, овладевшей умами в предреволюционной России, когда начался «великий тряс» и «переоценка ценностей», когда могла писать Зинаида Гиппиус — «хочу того, чего нет на свете», а Блок — «и невозможное возможно», когда рождались «мистические анархизмы» и «мистические эмпиризмы», богоискательство и «творимые легенды». В это время родился и «Апофеоз беспочвенности», как вызов, брошенный всем благополучным обладателям абсолютных истин и всем «в очевидности получающим свое полное и окончательное удовлетворение», как писал враг очевидностей Шестов. — «Покоя нет — покой нам только снится» — есть родство у поэта Блока и нарушителя покоя, который Спинозе и Канту ставил в вину их величавое спокойствие пред тайной Вечности. Шестов был сыном своего времени. «Беспочвенность» он осуществил трижды в своей жизни: оторвавшись от солиднейшей благоустроенности еврейского купеческого дома, настолько укорененного в быту и традиции, что много лет спустя, когда брат Льва Шестова, ныне еще благополучно здравствующий в Тель-Авиве профессор консерватории Александр Шварцман, прибыл в Израиль, простодушные выходцы из Киева приветствовали его как сына известного Исаака Шварцмана, основателя киевской фирмы, а о брате его, пишущем книги, никто из них и понятия не имел. И позже, выпав трагически из русской действительности, уйдя в эмиграцию, где, несмотря на годы творчества и жизни в Париже, не появилось во французской прессе даже упоминания о его смерти, когда он умер в ноябре 1938 года («только русские газеты дали сообщение», пишет Г. Ловцкий в своих воспоминаниях). И третий — самый болезненный отрыв — выразился в его «войне против самоочевидности», в оспаривании всех авторитетов и философских течений его времени, результатом чего была роковая «непонятость» и отщепенство в стане философов. После войны, разгрома Европы, беспримерной моральной и материальной катастрофы, трагедии, превысившей и «Книгу Иова» и опыт Ницше и Достоевского, Шестов стал ближе пониманию переживших. Тогда, в 1950 году, была даже сделана попытка — в Граце — создать «Шестовское общество» по образцу «Кант» или «Ницше-Гезельшафт». Оно выпустило две небольшие книжки для своих членов и распалось через несколько лет. Оценить творчество Шестова в полной мере могут лишь те, у кого почва ушла из-под ног, — осужденные и отверженные, безутешные и отчаявшиеся до конца не только в псевдонаучных утопиях, но и во всякой вообще мудрости мира сего. Что же остается, и где в конце концов ключ к этой странной и страстной антифилософии?

Похоже, что писавшие о Шестове как о религиозном мыслителе упустили одно простое, но много объясняющее обстоятельство: никакая беспочвенность не может быть абсолютной, и никакой бунт не может уничтожить глубочайших исторических связей. Шестов греков и римлян читал в оригинале, а языка Библии не знал, но в своем типе мышления и жизнеощущения остался старозаветным евреем, как сто поколений его предков. Еврейское мессианское сознание он не только сохранил в себе, но и противопоставил всей «афинской» мудрости университетов и академий — так остро, как не могли бы это сделать неученые простые евреи, занимавшиеся коммерцией и ежедневной борьбой за существование, — а между тем любой, самый бесхитростный из них, из глухого местечка, понял и принял бы сразу этот протест против недолжности и безысходности мира, против очевидности, которая неправа и которой противопоставлялась вера в то, что Богу все возможно. Это отклонение всех умственных роскошей и изощренностей, всех великолепий западной и всякой цивилизации во имя «Бога Авраама, Исаака и Иакова» — эхо которого звучит, кстати, и у другого русского еврея, М. О. Гершензона, в «Переписке из двух углов» — есть историческая традиция беспочвенного народа, привыкшего стоять лицом к лицу с Богом. Автор «Апофеоза беспочвенности», «Афин и Иерусалима», «Власти ключей» писал свое имя Шестов, а верил как Шварцман, как деды и предки верили.

В этом секрет его силы и тайный источник его вдохновения и непримиримости — ныне, быть может, в исторической перспективе более близких и понятных поколению, пережившему ужасы гитлеризма и сталинизма.

Он любил давать своим произведениям патетические названия — «В фаларийском быке», «Скованный Парменид». Для характеристики творчества Шестова в целом подошло бы название «В газовой камере». Он видел все человечество в положении загнанных в камеру смерти и отказывался принять реальность газовой камеры. Великая борьба Шестова была борьбой против реальности газовой камеры, — и единственным местом, где его антифилософия подходит к условиям места и положению человека, могла бы быть газовая камера, если бы заключенные в ней опозоренные и замученные люди еще были в состоянии мыслить. Мы, живые, об этом ничего не знаем. Мы не знаем, о чем думали, что чувствовали жертвы в ожидании смерти, когда закрывались за ними наглухо двери камеры и оставалась только надежда на чудо, на нереальность того, что с ними делают. «Богу все возможно» — даже и то, что все это окажется сном и неправдой. Если это «экзистенциализм» — то в довольно своеобразном, еврейском, библейском варианте: *de profundis clamavi*.

Мы, познавшие и прошедшие ужасы, до которых Шестов, к счастью своему, не дожился, не можем принять ни шестовского отрица-

ния разума, ни его представления о всемогущем, якобы, разуме, налагающем путы и обессиливающим человека. Мы знаем, на какое чудовище Абсурда восстала свободная мысль человека, единственное оружие его в борьбе с темными силами. Ожидание чуда не есть философия — не есть даже вера! — ибо можно ждать чуда, не веря в него, единственно в силу невыносимости того, что происходит с человеком. Так ждали в газовой камере верующие и неверующие — что случится то, что превышает человеческий разум. «Великая борьба» философии для нас не заключается в одном писании книг, истина, которую ищет философия, поверяется делом. Мы не можем проповедовать «своеволия», как делал Шестов, писавший в догитлеровскую эпоху. Не разум, а неразумие, пренебрежение «интеллектом» и своеволие привели к газовым камерам и насилию над человеком. Нет ничего опаснее провозглашения Абсурда в качестве путеводной звезды — мы видели и ныне видим в наши дни снова и снова, как легко поддается человек соблазну Абсурда. Мы стали скромнее в своих притязаниях и осторожнее в своих отрицаниях. Не импонирует вера, не поверяемая разумом, и не импонирует разум, лишенный меры своих сил.

Все еще остается в силе пушкинский призыв:

Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.

Сила и значение Льва Шестова в том, что он ставит человека на перепутье между экстатическим, иррациональным импульсом многих «ложных мудростей» и солнцем бессмертным ума. Приходится нам философствовать не в отвлечении от реальностей жизни, а под угрозой и в обличии врага. Умерли ли те заключенные в газовые камеры, или выход открылся им чудом? Ответить на этот вопрос не поможет «Книга Иова». Если весь мир — «мрачное и страшное подземелье» и «Богу все возможно», то тут, действительно, никакая философия не поможет, и остается плач истязуемых и надежда на чудо — в газовой камере. Но если мы хотим разрушить газовые камеры и не допустить до положения, когда ничего не остается, кроме вопля истязуемых к Богу, — то без «солнца бессмертного ума» не обойтись.